

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОЛЫМСКОЙ ТРАВИАТЫ

**ВАРПАХОВСКАЯ (Зискина) Ида Самуиловна, год рождения — 1911. Арестована в ноябре 1937 г. (ЧСИР, ОСО; срок — 8 лет и 10 лет ссылки), места заключения — Томские ИТЛ, Дальстрой (Колыма, Магадан); освобождена в 1945 г.**  
**ВАРПАХОВСКИЙ Леонид Викторович, год рождения — 1908. Арестован в 1935 г. (КРА, ОСО; срок — 3 года ссылки, Казахстан). Повторный арест — 18 ноября 1937 г. (ст. 58-10, ОСО; срок — 10 лет), места заключения — БАМлаг (Свободный), Дальстрой (Нексикан, Колыма, Ягодное, Магадан); освобожден в 1947 г. Умер в 1976 г.**

В магаданском театре заключенных, куда занесла меня недобрая судьба, я встретила замечательного художника и удивительного человека, с которым навсегда соединила свою жизнь. Это был Леонид Викторович Варпаховский.

Сейчас, вспоминая о нем, часто говорят о его человеческой красоте, благородстве и редкой интеллигентности, и хотя кому как не мне дано было в полной мере ощутить все эти качества, для меня Л.В. был прежде всего человеком, наделенным необыкновенным творческим даром, неудержимой фантазией, жившим всецело своим любимым искусством — театром.

Театром Л.В. заболел с детства. Еще учась в знаменитой тогда 10-й Московской школе имени Фридьофа Нансена, он переиграл массу ролей в драмкружке, поставил несколько спектаклей. Впоследствии он с иронией вспоминал, что «возомнил себя чуть ли не теоретиком театра». Сохранилась статья четырнадцатилетнего Лени Варпаховского из рукописного школьного журнала «Проблески» за 1922 год, который издавался под

редакцией Наталии Широких, где он исследует «цели дунканизма».

Его театральным кумиром был Мейерхольд, поэтому после школы Л.В. подал заявление в ГЭКТЕМАС (Государственные экспериментальные театральные мастерские имени Всеволода Мейерхольда). Принят он тогда не был, но через несколько лет, в 1933 году, упросил Льва Николаевича Оборина помочь ему встретиться с Мейерхольдом. После очень короткой беседы с Мастером он был зачислен на должность... ученого секретаря театра! Недолгое (трехлетнее), но почти ежедневное общение с Мейерхольдом стало для Л.В. замечательной школой режиссерского мастерства.

Первая жена Л.В. — Ада Абрамовна Миликовская — была замечательной пианисткой. Несчастье обрушилось на Л.В. из-за дяди жены — Матвея Абрамовича Хаита, революционера со стажем и убежденного троцкиста. Политикой Л.В. никогда не занимался, с дядей жены виделся всего два-три раза, но этого оказалось достаточно, чтобы в 1936 году ОСО НКВД приговорило его к трехлетней ссылке в Казахстан — «за содействие троцкизму».

О казахстанском периоде жизни Л.В. можно составить представление по списку постановок, которые он осуществил в Алма-Атинском театре имени Ю.В.Лермонтова. Репертуар 1937 года: «Вечер памяти Пушкина», «Оптимистическая трагедия» Вишневского, «Белеет парус одинокий» В.Катаева и «Слуга двух господ» Гольдони.

Ссылный режиссер жил полнокровной творческой жизнью. Но недосмотр был вскоре исправлен. Продемонстрировал свою бдительность некто Мусрепов — начальник Управления по делам искусств при Совнаркоме Казахской ССР. Он обрушился на главного режиссера театра Ю.Л. Рутковского в одной из алма-атинских газет: «Он (Рутковский. — И.В.) пригласил в театр в качестве

единственного режиссера некоего Варпаховского, человека не только никому не известного, но оказавшегося государственным преступником».

Через тридцать три года «государственный преступник» Варпаховский не смог отказать себе в маленьком удовольствии: отправить газетную вырезку со статьей Мусрепова в музей Малого театра, а самому Мусрепову — письмо с иронической благодарностью за его бдительность, которая «помогла» бывшему преступнику стать ведущим режиссером ведущего московского театра.

После публикации в газете Л.В. забрали. Стали допрашивать, продержали пять суток на ногах. Ноги распухали. Он падал. Его обливали водой, поднимали, ставили снова. Вены на ногах лопались. (Он умер, между прочим, оттого, что весь был «начинен» тромбами.) У матери Л.В. сохранился черновик его письма Вышинскому, написанного с прииска имени Чкалова. Вот что там говорится:

*...Я уже почти примирился со своей ссылкой, т.к. у меня была богатая творческая работа, ко мне приехала семья, и я ждал, что недоразумение кончится само собою. Однако оно получило дальнейшее, неожиданное для меня трагическое развитие. Это был 1937 год. Ссылных арестовывали буквально всех, и я был одним из последних в этой очереди. Меня арестовали 18/XI-1937 г. Тут уже я отказываюсь говорить о каких-нибудь законных мерах по отношению ко мне. Все то, что мне говорили о моих преступлениях, было сплошным вымыслом. Мне дали очную ставку с неким Прянишниковым, тоже бывшим ссылкой, который... клеветал на меня, обвиняя меня в антисоветских высказываниях. Я быстро разоблачил его тут же, на очной ставке, и протокол этой очной ставки при мне был порван следователем. По приговору алма-тинской тройки НКВД я получил 10 лет заключения в лагерях.*

*На этом дело не кончилось. В 1938 г. была арестована моя жена Ада Абрамовна Миликовская. Она пропала без вести, гражданин прокурор. У нас остался ребенок, мальчик, которому сейчас 6 лет и который, по счастью, имеет возможность воспитываться у моей матери. Вместо статьи Уголовного кодекса в моем формуляре стоит КРА, т.е. контрреволюционная агитация. 4 года прошли как тяжелый кошмар. Я нахожусь в лагерях НКВД на Колыме. Мне сейчас 33 года. Сколько бы полезного я мог сделать для своей Родины.*

Из Алма-Аты Л.В. отправили в город Свободный.<sup>1</sup> Не зная, что его ожидает, он написал матери прощальную записку и выбросил ее на железнодорожное полотно. На ней была надпись: «Прохожий, отправь эту записку моей матери», и следовал адрес. И мать получила эту записку! Она была женщина энергичная, правдами и неправдами пробилась в приемную Вышинского и добилась невероятного — какому-то начальству был направлен запрос о Варпаховском. Это, кажется, его и спасло.

В Свободном было восемь тысяч заключенных, которых расстреливали партиями. Утром по узкоколейке, издавая пронзительный звук, подъезжала «кукушка». Забирали 30-40 человек. Они не возвращались. Подробности этих расстрелов Л.В. узнал от одного человека, которого взяли по ошибке. Примерно так: взяли Ивана Петровича, а нужен был Иван Иванович. Их раздевали догола, сгоняли в машину, довозили до какого-то рва, группами расстреливали, бросали в ров и закапывали. Человек этот вернулся. Правда, совершенно седым...

Произошла смена власти. Ежова сняли, пришел Берия. К этому времени в лагере уцелело несколько десятков человек, и среди них Варпаховский. Кто-то проговорился ему, что был о нем запрос из Москвы...

Его отправили во Владивосток, на пересылку. На этой пересылке, как говорили, в одном из соседних бараков умер Мандельштам. На пересылке заключенные оставались недолго — около месяца, а потом их грузили на знаменитый «Дальстрой», пароход, который возил живой товар. Когда гнали к «Дальстрою», Л.В. помог одному из своих товарищей добраться до парохода, тот уже почти не мог идти. Много лет спустя, в марте 1956-го он получил от него письмо.

24/III-56.

*Дорогой друг!*

*Но это почти сверхъестественно, что вы меня не помните! Выполняю В/желание и даю все позывные: итак, я писатель, алма-атинец, а до того москвич. Встретились мы с Вами на 2 речке на Владивостокской пересылке осенью 40 года. Были Вы, я, Жорж Моргунов и некий поэт Башмачников. Жили мы с Вами рядом в большой палатке. Ничего не делали — болтали (правда, я писал жалобы желающим). Мы с Вами были оба из Алма-Аты. Перечисляю (наобум), о чем мы с Вами говорили, и этот список могу бесконечно продолжать:*

*1) (О Прянишникове) я сумел передать дочери покойного академика все подробности (оргвыводы были сделаны);*

*2) о Пушкинском вечере в алма-атинском театре, о грамоте Горсовета;*

*3) о постановке Вами «Оптимистической трагедии» («Полемика с Таировым») и «Слуге двух господ» (сохранилось ли у Вас фото — Вы у макета?);*

*4) об участии А.Шенье (персонально) и об одном нехорошем сарае, где и «мертвые стояли»;*

*5) о Вашей жене;*

*6) о моей жене;*

*7) о том, что Вы работали учетчиком (при пилораме);*

*8) о том, что Ваша матушка регулярно присылает посылки; о ее письмах. О Вашем письме, которое Вы выбросили из окна вагона — там и было о Шенье;*

*9) о Кнорре и Бабановой (о том, как она пришла к Вашему сыну, о том, как она сидела и решила, с какой стороны красить забор);*

*10) о Вашем аппарате для записи спектакля и его стиля; о Гордоне Крэге; о том, что каждый театр имеет свой графический почерк, и Вы его можете записать;*

*...Это, конечно, только примерный перечень тем, ибо говорили мы, не переставая, около месяца. Потом нас посадили на «Дальстрой» и повезли на Колыму. ...Мы лежали на нарах и прямо перед нами застрелили одного бандита, ибо был «шумок». Он лежал с заголившимся брюхом и в Вашем белье. Растащили нас в Магадане на пересылке — Вас вызвали, и Вы схватили вещи и исчезли.*

*...на пароход меня тащили на руках Вы! ...вспомнили Вы или нет? Где Ваша сестра и сын?*

*...Жму руку. ...Весь Ваш...*

И подпись: *Юрий Домбровский.*

А потом было много писем — и каких!

Подумать только — два измученных, голодных человека, впереди — страшная неизвестность, вокруг — ад, а они — о «графическом почерке театра», о Гордоне Крэге и Андре Шенье...

Путь до театра оказался долгим. Было мучительное плавание на «Дальстрое», трюм, забитый умирающими. С драками уголовников, со стрельбой охранников наугад, с трупами, лежащими вперемешку с живыми. Потом прииск, золотой сезон, рудник, работа около бойлера, который надо было заливать водой, а донести ее, не расплескав, было невозможно, так и ходили все

мокрые и обледенелые. Еще хуже досталось Домбровскому. «Я многострадальнее Вас, — писал он Л.В. — Вы попали, очевидно, на рудник, а я на “прокаженку” — 23 километр. Очень многое нужно, чтобы колымчанин окрестил пункт “прокаженкой” — и это многое там было полностью. Вы умирали в проклятом сарае стоя, мы дошли в брезентовых палатках лежа. Только и разницы».

Сохранилось письмо Л.В. матери, написанное в то время:

18/IV-40.

*Родные мои!*

*Посылаю вам небольшой музыкальный фрагмент, который очень прошу спрятать и сохранить в моих бумагах. Я специально записал эту мелодию, чтобы до конца дней моих сохранить в памяти живое представление об этой небольшой инсценировке, сделанной мною удачно и принесшей мне много творческого наслаждения. Ничто в моей памяти так не воскрешает прошлого, как звуки и запахи. Часто идешь куда-нибудь, и вдруг сжимается сердце и чувствуешь, что тебя всего охватило какое-то волнение. Сам не знаешь, что это такое, почему вдруг? Останавливаешься, запах... Удивительно знакомый запах. Начинаешь вспоминать. Да ведь так всегда пахло в Геленджике, около белого домика с зеленой крышей, где по вечерам любили сидеть мы, когда я жил там в 1931 году с Андрюшей. Оказывается, есть у человека подсознательная память, которая совершенно неожиданно для него самого воскрешает перед ним пожелтевшие страницы прошлого.*

*... Музыка связывает меня с прошлым и нет человека или эпизода жизненного (я уже не говорю о воспоминаниях, связанных с театром), не оставившего того или иного музыкального знака...*

Потом был этап и новый лагерь. Обычно, когда привозили на новый лагпункт, первым делом вели в баню. А баня — это темнота, грязь, маленькая закопченная лампочка — преисподняя, а вокруг голые люди с шайками в руках. В такой вот бане судьба свела Л.В. с Варламом Шаламовым, который описал этот эпизод в новелле «Иван Федорович»: «Многих из тех, кто стоял сейчас около грузовика, на котором путешествовала культбригада, Варпаховский знал. Вот Андреев, с которым когда-то они ехали из Нексикана в колымскую спецзону. Они встретились в бане, в зимней бане — темнота, грязь, потные, скользкие тела, татуировка, матерщина, толкотня, окрики конвоя, теснота. Коптилка на стене, около коптилки парикмахер на табуретке с машинкой в руках — всех подряд, мокрое белье, ледяной пар в ногах, черпак на все умыванье. Связки вещей взлетают на воздух в полной темноте: “Чье? Чье?”

И вот этот гул, шум почему-то вдруг прекращается. И сосед Андреева, стоящий в очереди для того, чтобы снять пышную шевелюру, говорит звонким, спокойным, очень актерским голосом:

То ли дело — рюмка рома,  
Ночью — сон, поутру — чай,  
То ли дело, братцы дома...»

Шаламов провел в колымских лагерях с 1937 по 1951 год, встречался с Л.В. не раз, не раз вспоминал его в своих новеллах. В том же «Иване Федоровиче», кстати, Шаламов описал и нашу с Л.В. любовь и мытарства.

В трудные времена порой выручало спасительное везенье. Был, например, такой случай в колымской жизни Л.В. В лагере духовой оркестр играл при выводе на работу, а на работу

выводили в пять часов утра! Точно, как в немецких лагерях. Играли фальшиво. Начальство узнало, что у Л.В. музыкальное образование, его вызвали, спрашивают: «Можешь ноты исправить?» И Л.В., никогда раньше не занимавшийся подобной работой, взялся за исправление партитуры. Он две недели был в тепле, более или менее сытый. К счастью, с работой он справился.

Однажды до Л.В. дошел слух, что в соседнем лагере — в нескольких километрах от его ОЛПа — есть культбригада. И он, доведенный до отчаяния, решил туда пойти. А выйти через вахту невозможно. Если выходишь из зоны — стреляют. Но он вышел. Часовые на вышках даже представить себе не могли, что вышел он самовольно! Раз человек идет, значит, имеет право. И его даже не окликнули. Он прошел четыре километра и таким же точно образом вошел в соседний лагерь. Разыскал нужный барак, открыл дверь и остолбенел. По стенкам нары, а центр свободный (обычно нары устраивали так, что только узкие проходы оставались). А тут был еще и стол, на котором лежали пайки хлеба. В центре стояла железная печурка. На нарах в белье «первого срока» сидели блатные и играли в карты, курили. Висели коврики с лебедями. В культбригады 58-я допускалась только в виде исключения.

Когда Л.В. сказал, что он артист, раздался дружный хохот — в таком он был страшном виде. К нему подошел человек, по виду вроде не блатной, и спросил:

— Ну и кто же вы — Моцарт или Гамлет?

(Те, кто причастны к музыке, были Моцарты, а те, кто к драме — Гамлеты.)

Л.В. подумал и сказал:

— Скорее, Гамлет.

— Ну подождите, с вами сейчас поговорят.

Подошел человек очень болезненного вида с отеком желтым лицом. Сели, стали разговаривать, человек задавал всякие каверзные вопросы. Например: «Вам понравилась актриса Гельцер из Малого театра?» Л.В. отвечал: «Гельцер — балерина». — «Где находится Большой театр, а где Малый?» — ловил, проверял, экзаменовал.

Наконец, спросил:

— Кем же и где вы работали?

— Я работал у Мейерхольда.

— А чем вы у него занимались?

— Я был его ученым секретарем.

Человек огорчился:

— До сих пор вы говорили мне правду, а сейчас обманули. Ученым секретарем у Мейерхольда был мой друг, Леня Варпаховский.

Л.В. говорит:

— Так я же и есть Леня Варпаховский! А вы кто?

— А я — Юра Кольцов!

Мхатовский Кольцов! Они не узнали друг друга!

Кольцов принес буханку хлеба. Л.В. как ни старался сдержаться, съел ее целиком, ему сделалось худо. Его отходили в санчасти, а потом оставили при бригаде. Л.В. начал с того, что поставил там «Мнимого больного» Мольера. Он мне говорил, что это был самый веселый спектакль в его жизни...

Кстати, Кольцов попал в культбригаду тоже необычно. Он погибал, был на лесоповале. Там был морг. А в этом морге работал старик, караульный. У его печки часто собирались уголовники погреться. Сторож играл с ними в карты и в домино. А когда у него не случалось партнеров, сажал мертвецов и «играл» с ними. Как-то Юра отчаялся и зашел в избушку. Уголовные взглянули на него: «Ты кто?» Он говорит: «Я артист». — «Ах, артист, ну так тисни роман». Уголовники жестоки, как звери. Но если вы им расскажете что-нибудь жалостливое, например, как мать бросила грудного ребенка на произвол судьбы, они будут обливаться горячими слезами. Юра же был великолепный чтец и великолепный актер! Он стал читать им Чехова. Они слушали, развесив уши. Его стали пускать в сторожку. Как-то туда нагрянул начальник этого лагеря, стал выяснять, что там происходит. «Да вот, — говорят, — артиста вот слушаем». — «Кто такой?» — Юра говорит: «Я — артист МХАТа». А у этого начальника, как выяснилось, была слабость к театру. Он привел Кольцова в свой кабинет, вынул наган, положил его на стол и говорит: «Рассказывай. Если ты действительно артист, я тебе помогу. Но если ты наврал, то я тебя хлопну на месте». Борясь со страхом, Юра стал что-то рассказывать и так понравился начальнику, что тот устроил его в бригаду (кстати сказать, этот начальник потом проворовался, оказался в лагере и у нас в «Травиате» пел в хоре, такая вот судьба...)

---

И последнюю домагаданскую историю хочется рассказать, поскольку благодаря ей Л.В., собственно, и попал в Магадан. После «Мнимого больного» Л.В. стал известен. Спектакль возили по многим приискам. И вот (дело происходило во время войны) начальник горного управления, по фамилии Гакаев, приказал к 7 ноября «сочинить концерт». Гакаев был страшной личностью. Он ходил по забоям и, если видел, что человек не может двигаться, «доходит», — собственноручно его пристреливал. Вот такой заказчик!

Легко сказать — сочинить концерт! Правда, в бригаде были и такие люди, как Нальский — талантливый опереточный актер, Николай Рытьков — актер театра Ленинского комсомола, Аркадий Школьник — молодой комсомольский работник, журналист, но в основном-то — блатные-чечеточники. Аркадий Школьник предложил сочинить композицию под названием «Днепр бушует», об освобождении Киева: «Как комсомольский работник и журналист, говорю вам, что к праздникам Киев обязательно освободят». Л.В. колебался: «А если не освободят? В лучшем случае пошлют на штрафной прииск, а то и вообще... От Гакаева всего можно ждать». — «Ручаюсь тебе головой, — настаивал Школьник, — что освободят». И Л.В. «соблазнился». Они пишут пьесу в стихах «Днепр бушует». Л.В. оркестрирует Героический этюд Шопена в расчете на маленький состав оркестра, Нальский репетирует фашистского генерала, Рытьков играет матроса.

И вот все готово. Их везут в клуб, все музыканты во фраках, из-под телогреек торчат фрачные хвосты. А Киев не взят! По дороге Л.В. и Школьник судорожно переделывают текст, вставляют вместо Киева какой-то другой город. Ничего не сходится. В таком состоянии приезжают в клуб.

Идет торжественная часть, они сидят, лихорадочно все переписывают, переделывают, ничего не клеится. Кончается торжественная часть, встает председательствующий и сообщает: «Товарищи, только что получена телеграмма: доблестные части Красной Армии освободили город Киев! Художественная часть».

Л.В. говорил, что у него никогда не было такого успеха. Люди кричали «Ура!», бросали шапки на сцену.

На следующее утро приехала черная «эмка» и увезла Л.В. в Магадан, куда его назначили художественным руководителем городской культбригады.

---

Здесь мне надо остановиться и объяснить, как я оказалась на Колыме. В 1936 году я с мужем, сыном и родителями вернулась из Харбина. Мечтала поступить в Оперную студию имени Станиславского. Стала брать уроки пения. Неожиданно арестовали мужа (где и как он кончил свою жизнь — не знаю, реабилитировали его в 50-х годах, посмертно), и я автоматически превратилась в ЧСИРовку. Арестовали меня прямо на улице. Я, помню, все объясняла им, что никак не могу отлучиться надолго — и ребенок маленький, и мать больна. Через две недели ОСО вынесло мне приговор — восемь лет лагерей.

В толпе уголовниц я отправилась в свой мучительный путь. «Посчастливилось» побывать в теперь уже хорошо известном Томском лагере. В этом лагере я сидела вместе с сестрами Тухачевского, женой Бухарина, сестрами и невесткой Якира. Я сблизилась с Бэлой Якир, мы ее звали Беленькая. Вместе с нами была Клава Шахт — первая советская парашютистка. Позже судьба привела ее в Усть-Омчуг, и она участвовала в местной самодеятельности, которой руководил Л.В.

Прожила я в том лагере два года. Закаленные царскими каторгами старые коммунистки быстрее нас, новеньких, приспосабливались к очередной в их жизни тюрьме. Они научили меня вышивать. Иголки делали из зубчиков расчесок: один конец заострялся, во втором конце пробивали гвоздем дырочку для нитки. Хорошо, что у некоторых сохранилось вольное цветное белье, оно шло на нитки! Мотивы «картин» были, конечно, сказочные — царевны, райские птицы, цветы — вся та красота, мечты о которой у нас не смогли отнять.

Там, в Томске, произошло чудо: меня нашел в лагере отец. Нашел по штемпелю на конверте письма, которое мне с помощью добрых людей удалось переслать домой. Его невероятная настойчивость, похоже, произвела впечатление даже на начальство тюрьмы. Разрешили свидания и передачи — он приносил хлеб и молоко. Так надеялся мне помочь, так верил... Это был 1939 год. Потом отец уехал из Томска за теплыми вещами, а когда вернулся — не застал меня на месте. Этап уже отправили дальше. Новый этап — новые страдания.

Во Владивостоке, на пересылке, перед баней получили мы уже более реальное представление о том, где мы находимся. Голых, с поднятыми вверх руками, женщин прогнали через строй мужчин-охранников и парикмахеров, нас побрили... После санобработки нас погрузили на «Дальстрой». Там, в трюме, задраенном наглухо, затаившись, переждали мы, пока пароход досматривали японцы. Мы были уже грамотными — никто не пикнул, сидели как мышки.

На Колыме я очутилась в лагере «Местпром». Работала на швейной фабрике по 14 часов — шила обмундирование для эзков Магадана. В бараке — пол земляной, нары обледеневшие, ночью волосы примерзали к доскам. Как-то раз человек по фамилии Танеев предложил мне принять

участие в лагерной самодеятельности. Я испугалась и отказалась. Ничто в лагере так не страшит, как перемены.

Самыми мучительными были ночные смены, особенно, если стоять у агрегата или мотора. Я-таки прошила себе палец (не выдержала, заснула). Спасла меня болезнь — немели пальцы рук и ног. В больнице меня осмотрел профессор Скобло — светило медицины, он тоже «проживал» в лагерях — и определил болезнь Рено. Это красивое название дало мне освобождение от ночных работ и направление в рукодельный цех. Здесь шили самые невероятные вещи для вольнонаемных. Цехом руководила Вера Федоровна Шухаева. Вера Федоровна и Василий Иванович Шухаевы — еще одно чудо наших с Л.В. колымских лет.

Шухаевы оказались на Колыме вместе. Это случайное упущение властей — обычно репрессированные семьи разделялись — помогло им выжить. Я уверена, что и сама продержалась потому, что встретила на Колыме с Л.В.

Шухаев начинал блестяще. Вот выдержка из его письма Л.В. от 5 марта 1972 года: *«Помню о знакомстве с Мейерхольдом, о вступлении в труппу этого театра, и о роли, исполненной в шедшей там пантомиме “Шарф Колумбины”... Мейерхольд уговаривал меня бросить Академию и вообще изобразительное искусство. “Бросьте вашу живопись, — говорил он, — неизвестно, какой из вас выйдет художник, а артист вы первоклассный”». Художником Шухаев, впрочем, тоже стал первоклассным. Чего стоит только хранящийся в Русском музее в Ленинграде двойной автопортрет Шухаева и Яковлева, изобразивших себя в костюмах Пьеро и Арлекина. Шухаев был близок с М.Кузминым, Н.Сапуновым, Б.Прониным, В.Соловьевым.*

*«После окончания Академии, — писал он Л.В. в другом письме, — моя конкурсная картина “Вакханалия” вызвала большой «подвал» в газете «Речь», написанный А.Н.Бенуа, благодаря этому “подвалу” я получил заграничную командировку в Италию от Римского общества поощрения молодых художников, а также место в ряду молодых талантов. Недолго думая, я махнул в Италию. Работая в Риме, я уже стал забывать о своих театральных успехах, как вдруг появился ко мне представитель С.П.Дягилева, который повел со мной речь о вступлении в труппу Дягилева».*

В Париже, куда Шухаевы уехали по совету А.В.Луначарского (Шухаев пожаловался наркому на нехватку красок, кистей, холстов, а тот сказал, что в России этого не будет еще, наверное, долго, и посоветовал пожить за границей), Василий Иванович писал много и упоенно, а Вера Федоровна, лингвист по образованию, сумела устроиться только модельером. Вернулись Шухаевы только в 1935 году, встречали их шумно и торжественно, а в 1937-м посадили.

На Колыме они встретились. Вера Федоровна работала вначале мастером вышивального цеха, сама сочиняла и рисовала фасоны платьев для дам вольнонаемного состава. Ну а уж вышивки и отделки никто не мог сделать лучше, у нее был такой дивный вкус. «...Вера Шухаева работала в магаданском пошивочном ателье, где ей иногда удавалось придать приличный вид магаданским начальственным толстомясым дамам», — вспоминает Е.С.Гинзбург в «Крутом маршруте».

Василий Иванович находился на мужском ОЛПе. Узнав, что он художник, начальство поручило ему писать лозунги и красить легковые машины. Когда увидели, что он справляется с этим, ему была поручена работа более почетная — делать копии с шишкинских «Мишек» и «Трех богатырей» Васнецова, что для него, «мирискусника», было сущим наказанием, так как художников этих он терпеть не мог.

На Колыме сидели тогда многие художники, с двумя из них — Леонидом Вегенером и Исааком Шерманом — Л.В. довелось работать. Исаак Шерман был превосходный художник и образованнейший человек, долго жил в Париже, прекрасно знал язык и культуру страны. (К тому же мужественный человек. Когда Л.В. посадили в третий раз, почти все отвернулись от меня, а он продолжал приходить. Умер он в Магадане, от инфаркта). Он очень пессимистично смотрел на наше будущее, не верил, что мы когда-нибудь станем прежними. Говорил, что мы подопытные кролики, и что опытам над нами не будет конца. Прав был! Есть одно его письмо Л.В. (О «Холопке», они вместе ее делали), написанное на куске обоев, наполовину — по-французски. Замечательны и стиль письма, и тонкие изящные эскизы — на обоях.

К каждому празднику писались портреты вождя. Не обошло почетное задание и Шухаева. Он сделал поясную копию, кажется, с герасимовского портрета. Никишов — хозяин края — лично принимая работу, пришел в ярость: «Кто посмел изобразить Иосифа Виссарионовича с грязным воротничком?!» — «Это не грязь, это тень. Тут боковой свет». — «Какая еще такая тень?!» Василия Ивановича, который и не подозревал, какие страсти разгорелись на выставке, из барака отправили прямо в карцер. Туда же последовал и Вегенер — он писал другой сталинский портрет. Шухаев спросил: «А вас-то за что?» — «Не знаю, — отвечал Вегенер, — наверное, за компанию».

Вообще о художественном вкусе и культурном уровне наших хозяев много можно вспомнить. Например, руководительница магаданского театра, этакая огромная матрона, потребовала убрать из фойе безобразное художество — портрет мужика с красной рожей. А когда ей объяснили, что это великий русский композитор Мусоргский — копия Шухаева с репинского портрета, — сокрушалась, что композитора нарисовали в таком неприличном виде. А Александра Романовна Гридасова, могущественная покровительница искусств, жена Никишова (о ней мне придется еще вспоминать), как-то прислала Л.В. распоряжение, в котором приказала включить в программу концерта «куплеты Дореадота».

На фабрике я проработала четыре года, потом не выдержала, нашла Танеева, попросилась все-таки в самодеятельность. Видимо, мое пение понравилось Драбкиной, жене начальника УСВИТЛа, которая заведовала КВО Маглага. Меня перевели в женОЛП, где была организована культбригада.

И культбригада, и театр, и вся наша жизнь находилась в полной власти Никишова и Гридасовой, их расположение или немилость решали нашу участь, недовольное выражение лица могло обернуться увеличением срока, они были нашими полновластными хозяевами. Иван Федорович Никишов, начальник Дальстроя, генерал-лейтенант, имел личный особняк в центре Магадана, сад вокруг дома (это в Магадане-то!) и прямой провод к Сталину. Он был в зените своего могущества, когда по комсомольской путевке в Магадан приезжает молодая Александра Гридасова. Случайно знакомится с Никишовым. Роман. Жена и дети отсылаются на материк, и Гридасова поселяется в особняке Никишова. Она делает стремительную карьеру — сначала получает чин лейтенанта, а затем становится начальницей Маглага. В ее распоряжении личная машина с шофером, обслуга. Отныне она, Александра Романовна, решает стать покровительницей искусств. Именно она организовала нашу культбригаду, которая потом и переросла в театр.

И вот осенью 1943 года — не помню месяца, знаю только, что это была осень, — сижу я в конторе. Вдруг открывается дверь и входит человек, невысокий, невероятно худой, лицо в морщинах, мне еще показалось, что у него безумно длинные руки — ниже колен. Одет в телогрейку, стеганые штаны, на ногах — матерчатые бурки, а на голове — ушанка из собачьего меха. (Потом я узнала, что он очень гордился своим нарядом, его собирали в дорогу все его товарищи, каждый дал, что мог.)

— Знакомьтесь — наша певица Зискина, наш новый руководитель культбригады — Варпаховский.

Первой постановкой Варпаховского в Магадане было «Похищение Елены» Луи Вернейля. Комедия нужна была ему, чтобы раскрепостить людей хотя бы на сцене. Спектакль оформляли художники Вегенер и Карпенко. В нем участвовали Демич, Кольцов и частушечница Дуся Тарасова. На одной из репетиций «Елены» я и влюбилась. Я была очарована, потрясена, я поняла, что Леонид Викторович — настоящий, тонкий, необыкновенный художник. Запомнилась мне особенно сцена похищения Елены. Между двумя белыми колоннами в центре — окно. Перед колоннами — два кресла, в которых сидели муж (Демич) и Елена (Дуся Тарасова), на плечах у нее белый шарф. Между ними стоял домашний врач (его играл Кольцов). Вдруг на сцене гаснет свет. Суматоха. Муж Елены в большом волнении. Никто не понимает, что произошло. Вбегают два лакея с зажженными канделябрами, между колоннами мелькают свечи. Обнаруживается, что Елена пропала, и только в открытом настежь окне на синем фоне треплется белый шарф.

Спектакль получился легкий, изящный, светлый и покорила весь Магадан. Сам Л.В. тоже работал легко, увлеченно, с задором. Он в те времена любил пошутить на сцене, придумывал разные смешные трюки, и даже имел кличку «стружкомет» — ее дал ему Василий Иванович Шухаев (на день рождения Л.В. Шухаев преподнес ему большую коробку, перевязанную красивой лентой и наполненную обыкновенными стружками).

Пока шла работа над «Похищением Елены», у нашего дирижера Конака Новогрудского возникла идея поставить «Травиату». Л.В. считал эту затею утопией. Но мы с таким энтузиазмом взялись за работу, что он решил не вмешиваться. Постепенно, однако, увлекся и он сам, и после «Елены» началась настоящая работа над «Травиатой». Л.В. всегда был внутренне готов к музыкальному спектаклю. Он говорил, что истинный драматический спектакль строится по законам музыки.

Итак — опера. Хора нет. Правда, есть артисты на главные роли и небольшая танцевальная группа, частично из вольнонаемных.

О главных персонажах. Виолетта — я, недоучившаяся певица. Когда меня посадили, мне было 24 года, не успела. Правда, в Магадане у меня были прекрасные учителя. Во-первых, конечно, Л.В. А во-вторых, Софья Теодоровна Гербет, замечательный концертмейстер, ученица Г.В.Пабста. (Уже когда Л.В. освободился и работал как вольнонаемный, она, не выдержав мучений, повесилась ночью в лагере. Наутро Л.В. перед началом репетиции поднял оркестр, чтобы почтить память погибшего товарища. Это стало одним из пунктов обвинения при третьем аресте Л.В.: «Устроил панихиду по немке, покончившей с собой в знак протеста против советского режима».)

Альфред — Тит Епифанович Яковлев, большой, крупный мужчина с очень красивым тенором, большого диапазона, но, увы, не отличавшийся галантностью. Он был хорошим исполнителем русских романсов и народных песен. Очень хорошо пел «Вот мчится тройка удалая...» А тут — Альфред.

Барон Дюфоль — Грызлов. Бандит в прошлом, с видом гориллы, «специалист» по часам, по кличке Часики. С очень приятным красивым баритоном.

Жермон, отец Альфреда — Гамид Тухватуллин. Певец, окончивший, если не ошибаюсь, Казанскую консерваторию. Неплохо исполнял арию Торедора. К сожалению, в арии Жермона, где верхнее соль — трудная для баритона нота, он частенько «пускал петуха».

Далее следовали второстепенные персонажи, с небольшими партиями. Флора (меццо-сопрано) — В.Полякова, врач (бас) — Эрс, Аннина, служанка Виолетты — Г.Козьмина, садовник — В.Кивимяки. У некоторых из них было по одной-две фразы. Репетировали мы с упоением, в особенности нам нравился застольный период, там, где Л.В. работал с нами, как с актерами. Помню, вечером, ложась спать в своем бараке, я совершенно отключалась от окружающего меня мрака, укрывалась с головой и все думала, думала о Виолетте, о ее жизни, любви, трагедии.

К этому времени в нашей бригаде произошли большие перемены. Новогрудского за связь со скрипачкой Эльзой Злочевек отправили, как говорится, куда Макар телят не гонял, там он отморозил себе пальцы на ногах и стал калекой. (Впоследствии они встретились и до конца жизни остались мужем и женой, у них было двое детей). Эльзу пощадили и оставили в бригаде, так как она прекрасно шила и вышивала, чем была любезна начальству.

Нашего нового дирижера звали Петр Зиновьевич Ладирдо. Ко мне он относился неплохо, давал возможность петь и выступать.

Л.В. продолжал работать над «Травиатой». Для оформления спектакля он привлек художника Вегенера, а по костюмам — Веру Федоровну Шухаеву. Василий Иванович помогал ей в этом. Шухаев всегда толкался среди участников спектакля. Даже в телогрейке, с суковатой палкой, он был элегантен и походил на парижанина.

Костюмы решили делать в стиле портретов Ренуара и перенести время действия во вторую половину XIX-го века. У меня сохранились эскизы, это в большинстве своем художественные произведения. Но все делалось пока что не всерьез, потому что средства еще не были отпущены. Правда, наше непосредственное начальство, то есть наши дамы из Маглага, смотрели на нашу затею благосклонно. Опера на Колыме, да еще под их руководством! Потому всячески старались помочь. Когда обнаружилось, что у нас не хватает мужских голосов для хора, Л.В. обратился к Александре Романовне. Она его утешила: «Не волнуйся, Варпаховский, к нам вот-вот прибывает из Томска эстонская капелла в полном составе».

Впоследствии Т.Эрс (бас), эстонец, пел арию маркиза д'Обиньи, а другой эстонец — В.Кивимяки — садовника.

Первый акт был оформлен так: примерно на высоте двух метров — балкон, закрытый желтым занавесом. К нему с обеих сторон ведут две лестницы полукругом с перилами в стиле барокко. В получившейся раковине в центре на сцене на небольшом возвышении — дирижер и оркестр. Все гости, дамы в платьях нежно-блеклых тонов — на лестнице на некотором расстоянии друг от друга, кто — облокотившись на перила, кто — обмахиваясь веерами.

На сцене полумрак. Все задернуто серым тюлем. Начинается увертюра. В увертюре есть место, где после трагической музыки идет очень бравурный, веселый, похожий на канкан кусок, с которого, собственно, и начинается бал у Виолетты. В левой кулисе появляется Альфред и одновременно на балконе в прорези занавеса в центре появляется Виолетта, в роскошном туалете. Виолетта опускалась в них по лестнице к гостям, а они исчезали за желтым верхним занавесом. И когда он раздвигался, перед вами возникала картина, очень похожая на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Лицом к публике за длинным столом, на котором расставлены серебряные чаши с горячим пуншем, мы с Альфредом стоя пели «Застольную». А хор пел сидя. Любовный дуэт Виолетты и Альфреда в первом акте мы должны были петь возле рояля. После ухода гостей мне приходилось

бегом в темноте взбираться по лестнице, потом спускаться по другой, наружной, потом сесть за рояль и вместе с оркестром сыграть вступление.

Почему Л.В. задумал, чтобы я сама сыграла на рояле? Потому что он хотел, чтобы персонажи спектакля были людьми, наделенными какими-то талантами. Виолетта играет, Альфред увлекается живописью. Во втором акте он в свободной куртке художника стоит перед мольбертом, пишет портрет Виолетты и поет свою арию о любви. А может быть, помнил Л.В., как Мейерхольд в «Даме с камелиями» хотел, «чтобы Маргерит, перед тем, как запеть, медленно и негромко сыграла на рояле несколько фраз из какой-нибудь пьесы»? Л.В., безусловно, находился под очарованием мейерхольдовского спектакля, в котором Мастер доверил ему поставить вчерне целый акт.

Но продолжу об оформлении. Второй акт. Сцена в виде полукруглой беседки, на чуть наклонной площадке — соломенная плетеная мебель. Оркестр — на традиционном месте в оркестровой яме. Третий акт — это бал у Флоры. Две большие белые колонны. В центре — площадка, к которой с двух сторон прилегают две невысокие лестницы. Перед площадкой — овальный стол, на нем два канделябра с зажженными свечами. (Л.В. вообще очень любил свечи на сцене. Когда на производственных собраниях театра обсуждались постановки, наш заведующий постановочной частью Вахнянский, сложив на толстом животе руки, спрашивал: «А кто будет ставить этот спектакль?» Если ему отвечали, что Варпаховский, он грустно вздыхал и говорил: «Значит, надо доставать 50 килограммов свечей».) Флора, стоя на высоких подмостках, приглашает гостей на бал. Бал — костюмированный, с балетом, с разнообразными маскарадными эффектами. Были даже актеры на ходулях, почти все — в масках.

У нас костюмы шили из всего, даже из парашютного шелка. Парашютный белый шелк списывался. Кроме того, нас тогда многим снабжала Америка, нам жертвовали ткани, материалы, платья. Кое-что выписывалось Маглагом и прибывало к нам с материка. Ну и Вера Федоровна была в костюмерной!

Костюмы, трепетное мелькание свечей — все это создавало необыкновенное впечатление. Кольцов, когда шел спектакль, никогда не пропускал третьего акта. Правда, для всех было загадкой, почему все-таки гости держат свечи. Обращались за разъяснением в Л.В., на что он отвечал, что гости играют в игру Святого Мартина. Это объяснение всех вполне устраивало, никто не хотел признаваться в своем невежестве. А это была выдумка, игры такой не существовало. Л.В. просто нужно было такое освещение на сцене. Впоследствии даже в либретто было напечатано: «Прервав традиционную карнавальную игру в Святого Мартина, сбегаются гости».

И, наконец, четвертый акт, выстроенный по диагонали. На сцене — черный рояль, несколько кресел, затянутых черным тюлем, справа — окно, закрытое шторами, сквозь которые пробивается солнечный свет, слева — дверь, а перед дверью — как бы простенок и ширма. За этой ширмой подразумевалась кровать, которую Л.В. не пожелал оставлять на сцене. Я сидела в кресле. Арию «Я гибну, как роза» я также вначале сама себе аккомпанировала. И потом подхватывал оркестр. После этого Виолетта обходила вокруг рояля, брала маленькое овальное зеркало с ручкой и смотрелась в него. Сзади в зеркало ударялся луч света, а оно было треснутое: Л.В. специально его разбил. И когда на зеркало падал луч света и рука немножко дрожала, то на бледном лице Виолетты играли какие-то странные блики. Затем она доставала из шкатулки письмо Жермона, где было написано, что он во всем признался Альфреду и тот скоро будет у нее. Виолетта без музыки читает письмо (Л.В. решил, что Виолетта начинает читать, глядя в письмо, а затем опускает его и продолжает читать, не глядя в листок, — она знает письмо наизусть). В это время вбегает

взволнованная Аннина, хочет что-то сказать, и Виолетта понимает, что вернулся Альфред. Она стремглав бежит за дверь и на самых высоких нотах музыки — темы Альфреда и Виолетты — Альфред выносит Виолетту на руках. Эффект всегда был в этом месте потрясающий. Встреча двух влюбленных после разлуки, измученных страданиями, — это было понятно всем в зале.

Идет повтор дуэта из первого акта: «Покинем край мы, где так страдали». Только в первом акте было счастливое начало любви, а здесь — лишь воспоминания. Бедная Виолетта начинает торопиться, собираясь в дорогу, она ходит по авансцене, зовет Аннину, чтобы та помогла ей одеться, но ее шатает из стороны в сторону, она как-то нелепо взмахивает руками и ей делается дурно. Виолетте пододвигают кресло к авансцене, и идет реквием. Виолетта прощается со всеми, просит Альфреда жениться и передать своей невесте медальон, после чего ей кажется, что ей лучше. И опять без музыки она произносила свой текст, подходила к окну, отдергивала штору, и в комнату врывались свет и солнце. Виолетта, упав в кресло лицом к окну, спиной к публике, умирала.

Накануне премьеры Л.В. вызвали к директору театра. Там уже находился Ладирдо, который заявил, что спектаклем дирижировать не будет, что надо все изменить и оркестр посадить во всех актах куда положено — в оркестровую яму, на что Л.В. очень спокойно ответил: «Менять ничего не буду, а оркестром дирижировать буду сам». Директор театра — это была дама, не помню ее фамилии, их очень много сменилось — обомлела. Через некоторое время Ладирдо дал все же согласие дирижировать в предложенных ему условиях.

Наконец, премьера. Успех был оглушительный. Меня и Л.В. на руках отнесли со сцены на второй этаж и без конца качали. У меня просто закружилась голова. Ладирдо страшно разозлился. Он думал, что будет провал, раз оркестр сидит не там, где нужно... И вот на тебе! От злости он так стукнул своей дирижерской палочкой о пюпитр, что она сломалась.

Через несколько дней Никишов в своей ложе с генералами слушал спектакль и говорил свите: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем», — и послал за кулисы несколько яблок.

Были награждены мы грамотой, на которой был изображен Сталин, а Л.В. — снижением срока на полгода. «Советская Колыма» 31 марта 1945 года напечатала рецензию на «Травиату». Похвалила всех, правда, по именам никого не назвала: ни режиссера, ни артистов — зэки же! А я получила самую дорогую для меня похвалу только на двенадцатый год совместной жизни с Л.В. Уже в другие, вольные времена, Л.В. писал мне:

*Дуся, ... твоему вкусу верю больше, чем вкусу весьма образованных специалистов, твоему чувству театральности и правды верю больше, чем всей публике, собравшейся на премьеру...*

*И никто кроме меня не понимает, что в тебе сидит Шаляпин в юбке! Все снисходительно относятся к твоему сказочному успеху в «Травиате», думая теперь, что это было хорошо для Колымы или что это моя заслуга и т.д. и т.п. Все дураки думают, что, полюбив тебя как женщину, я ослеп, увидя в тебе больше, нежели есть на самом деле. А никому в голову не приходит, что я сначала был поражен тобой именно как актрисой, а потом уже влюбился. Я же помню два удара по своему сердцу, которые ты мне нанесла со сцены: у вас там я попал на репетицию под оркестр и обалдел, когда услышал тебя в «Гейше» и потом в «застольной», когда шел по фойе. ... А разве можно забыть то, что ты делала в таких местах, как весь 4 акт, как ансамбль в финале 3 акта (Альфред, Альфред мой), как сцена с Жермоном (Вы поймите) и т.д. Приходится только с ужасом думать о том преступлении, которое когда-то*

*было совершено с твоим талантом. Для того, чтобы определить одаренность художника, достаточно одного взлета. Грибоедов — гений по одному взлету. Ибо взлететь может только одаренный человек, случайных удач не может быть в искусстве. ... Как горько, что ты была лишена возможности повторять и закреплять свои успехи.*

*Если бы меня сейчас спросили, какую сцену я вновь хотел бы увидеть из всего сделанного за мою жизнь — я не задумываясь ответил бы: финал 3 акта «Травиаты».*

Цитируя это письмо, я рискую показаться нескромной. На самом деле, мне приходится не столько гордиться своим талантом, сколько сокрушаться, что ему не довелось раскрыться. Но жизнью, прожитой рядом с Леонидом Викторовичем Варпаховским я могу и хочу гордиться!